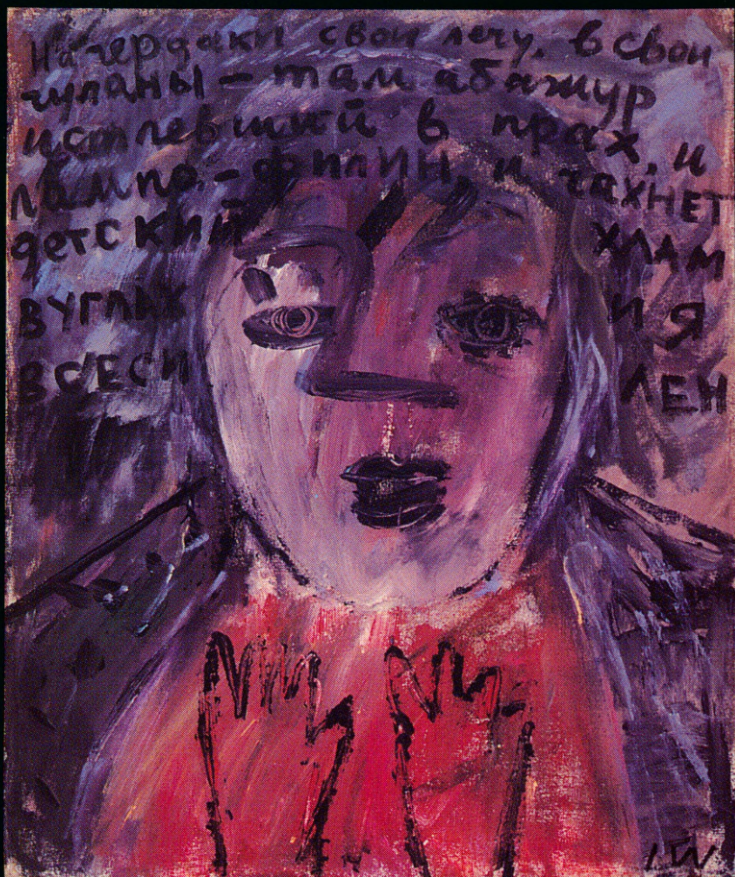


Владимир Гандельсман



ШУМ ЗЕМЛИ



ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

ШУМ ЗЕМЛИ

СТИХИ

ЭРМИТАЖ

1991

Владимир Гандельсман

ШУМ ЗЕМЛИ
СТИХИ

Vladimir Gandel'sman

SHUM ZEMLI
(The Sound of the Earth)
Poems

Copyright © 1991 by V. Gandel'sman

All rights reserved

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Gandel'sman, Vladimir, 1948-

Shum Zemli : stikhi / Vladimir Gandel'sman.

p. cm.

Title on t.p. verso: The sound of the earth.

Summary in English.

Romanized record.

ISBN 1-55779-046-9 : \$8.00

I. Title: Sound of the earth.

PG3481.A458S48 1991

891.71'44--dc20

91-40906

CIP

Cover design by Ira Waldron

Published by Hermitage Publishers
P. O. Box 410
Tenafly, N.J. 07670, U.S.A.

GANDELSMAN, Vladimir. *SHUM ZEMLI*

\$ 8.00

(The Sound of the Earth. Poems, 96 pp.)

In the 1980's Hermitage introduced its readers to the first collections of such interesting poets as Irina Ratushinskaya, Mikhail Eremin, Lev Losev, Anatoly Naiman, and Ina Bliznetsova. In the 1990's we intend to continue this tradition. This is what Joseph Brodsky writes about Gandelsman's poems: "His poetry strikes with the intensity of spiritual energy, and even a certain lapidary of spiritual motion. . . . In it one hears Pasternak and — especially in the syntax — Rilke. . . . It stuns with a literalness of feelings, its naked metaphysical quality, and the absence of a guitar's tear. . . ."

* * *

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о все, чем жив — тобой, твоим, твоими,
на все твое душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя...

* * *

Я так тебя люблю, что ты сошла
за ту, что я люблю, ты так мала,
что помешать мне в этом не вольна,
мысль по ночам к тебе так тяжела,
как материк, как целая страна,
я больше не хочу, чтоб ты жила...

* * *

Если скажу: вот я свободен,
холод земли, будь он неладен,
только и годен,
к счастью, бездомен, к счастью, безроден,
путь мой отраден,

если скажу: вот я спокоен,
зависти нет, это ведь Каин
бродит, расстроен,
в мире подлунном (тоже мне, воин!)
он неприкаян,

если скажу: более года
сына не видел, да и не надо —
значит свобода —
полунеправда, полуневзгода,
полубравада...

Но иногда все это правда,
все, что ни есть — все слава Богу,
больше — не надо,
я и сегодня из снегопада
вижу дорогу.

* * *

Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари,
и уходит трамвай к «Блохину», словно зверь к водопою.

Я тем больше люблю ее, что не могу сохранить
так, чтоб ты ее тоже любила и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишённую горя.

О твоём белоснежном объёме, имеющем зренье и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говору о тебе, о твоём умирающем чуде —
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.

* * *

В том городе, где я тебя любил,
в том городе, где я тебя хранил,
как, может быть, хранили в прошлом веке
дурные письма — искренне и зря, —
где ввечеру над крепостью заря
все пробует себя на человеке,

я возвращаюсь мыслями к тебе,
и странное спокойствие судьбе
даровано, почти опустошенье...
Любовь, мой друг, не тем ли хороша,
что ею орошается душа
и, проходя, даёт ей завершенье.

В разлуке нет высокого значенья,
и нет разлуки, сердце не избыть,
и бытие не умопомраченье,
и не свобода, и не заточенье,
но то, что не хочу определить.

В нем нет Меня, тем более разрыва.
Кого и с кем? Мы что — разлучены?
На побережье Финского залива,
где тополя стоят неторопливо,
мы все еще на жизнь обречены.

Данте

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголенность слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст — он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слез моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь — одно,
везде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено...

* * *

Тихопомешанному на муравьях
чайка была продолженьем ладони,
с пепельной славой на тонких крылах
и в летаргическом полунаклоне...

Он растворялся в соседних мирах.
Бледным цветком, прозябающим в скалах,
осенью в сердце селившийся страх
так и дрожал среди родственных малых.

Жизнью соринки, что слишком мала,
тихопомешанному увлечься
было всегда перед сном и улечься
с радостным риском — была не была!

Все продолжается — только и знал,
было движение — так он и помнил,
только и видел: соломинку поднял,
на муравьиной тропе исчезал...

* * *

Снег — на землю, душа — от земли,
вам сегодня меняться местами,
что ты медлишь, душа, утоли
этот замысел, что тебе больно

и зачем привязалась ко мне?
Наш разлад — он затеян над нами.
Ты любила кого-нибудь? Нет.
А со мной породнилась невольно.

Все кому-нибудь принадлежит.
Снег и снег, как попытка оспорить,
исчезая, летит и летит,
так прекрасен, что боязно вторить.

Ну и все же, скажи, мы могли
полюбить, как пришли, не владея?

* * *

В области пчел, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плел мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой, или колосья,
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и запятыми
угольных мух, влажным камням — влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слез тонкотелых.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растенье
если бы смел не называть умершей птицей,
или птицу не называть ангельской тенью,

то и тогда...

* * *

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу еще не желалось столь жадностно жить,
так дышит лягушка, когда малахит ее душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, ее тягот, то мной завоевано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости — точная бездна,
нешадная точность! но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

Стихотворения 1973-78 гг.

ПИСЬМА

Расширяясь течением реки, точно криком каким, точно криком утратив себя до реки, испещренной стволами, я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки оболочке, еще говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски зарывая в песчаное дно, замирающим слухом... Как лишиться мне смысла и стать только телом реки, только телом, просвеченным — в силу безмыслия — духом.

Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот, пронося мою память, ее разветвляя на жилы... Я к тебе обращен, и теперь уже время не в счет, обращенным к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают превращение в сердце, лишенное координаты, оно — все, оно — всюду, с ним время в сравнении — зуд, бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения — нежность его, пусть зрачок омывает волна совершенным накатом, это значит, пробившись за контур, слилось существо с мнимо внешним и мнимо разъятым.

* * *

Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно...
Бывали дни — не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставляла,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
утишившая время до приметы...
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
воспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя...
Но человек, склоненный над столом,
не слышит, как стучит металлолом
и мертвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и все его живое существо
втройне одарено одним мгновеньем:
июльским днем, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.

* * *

Я с поезда сошел, где он стоял
минуты три, и обогнул вокзал,
ряды деревьев, хилые заборы,
раскуривал пьянчужка слабый взгляд
и думал: у зверей хотя бы норы,
они в них забираются и спят...

Поселок был приземист, сух и гол,
виднелся белый камень в виде школ,
закрытых на ремонт, где пахнет краской
кошмарных парт, а дальше «Телеграф»
с рентгеновской мертвыней телеграфской,
застывшее та-та — его состав...

Еще спала дневная смута, брань,
пивной ларек пустел у красных бань,
как истукан в косой немного кепке,
и если люди не сошли с ума
в кривом краю, то как же они цепки,
попрятав свою психику в дома...

Никто меня из рук твоих не брал,
и трижды я тебя не целовал,
и что родней такого горизонта?
Другое дело — помнишь ли? — один,
тот, что писал «Epistulae ex Ponto»,
оплакивая вечный град Квирин, —

он трижды возвращался перед тем,
как в Скифию отправиться совсем,
и прочее... И солнце из тумана
всходило слишком быстро, и росло,
напоминая гнев Октавиана
и приближая черное число,

и прочее... Им вреден этот край,
нам тоже не полезен, но — прощай...
— Во времени отныне и в пространстве, —
ты скажешь, — мы не встретимся с тобой...
Не зарекайся, холод этих странствий
не ведает ни мертвый, ни живой.

* * *

Проще распасться,
особенно в эти часы
стершихся граней,
в комнате темной упасть
проще, чем красться.
Странно, что жизнь
длится помимо желанья.
В этой связи —
что она? Только не страсть.

В красном графине
зеленая искра блеснет.
Непревзойденной
кожа твоя белизны,
разве что, иней
с нею сравним...
Прошлою ночью бездонной
видел поход
серых плащей вышины.

Ночью осенней
я вышел и лист раздавил,
помню, крутился
торс бесноватой реки,
помню, Евгений.
Я потерял,
я потерял тебя и простился
что было сил,
что было сил, вопреки.

Шум ли раздастся
о том, что упала во двор
льдина простая...
Я не могу говорить,
проще распасться,
чем ожидать,
что последовательность слепая
станет — собор,
ясная вывьется нить.

Так неужели
письмо от тебя — все же весть
будущей сцепки
звеньев, светивших душе,
или в пределе
комнаты, где
прошлого бледные слепки
все еще есть —
звенья маячат уже?

Я не пытаюсь
срастить их. Я знаю давно:
исповедь — это
то, что осталось среди
нескольких пауз.
Их и прочти.
Звенья окрепшего света
застят окно,
колко колеблют пути.

* * *

Состарившись в зеленом городке,
придешь на берег с зонтиком в руке,
сверкнет перед грозой тяжелый понт,
раскроешь над собой костлявый зонт,
и парус накренится вдаль,
и трепыхнется плащ на рыбаке,
и тихо помутится горизонт.

Поди теперь собой распорядись,
когда так ощутима эта высь,
и песни одиночества смешны,
когда немые области слышны,
ты скажешь так: коль годы пронеслись —
прими непостижимо и примись
совсем с непостижимой стороны,

но чтоб я знала... Сделав кувырок,
клочок газеты тронет в городок,
и влажные подводки трав морских
расцепят йоды запахов своих,
и чиркнет красной искрой поплавок,
и повзывает к Господу гудок,
и в небесах утратится пустых.

* * *

Это игра, говорю тебе, карта, игра,
я выхожу, обогнув скандинавского тигра —
помнишь его очертанья? — в Норвежское море...
что-то до этого... Войнова, крепость Петра,
желтые выше слоятся закатные титры,
тело тяжелое, физиология горя...

Я выхожу, различая заливы, моря,
лобзиком вырезан берег Европы капризный,
справа Гренландии опухоль, мертвая зона...
что-то до этого... холод, канун сентября,
тонкие заморозки, тончайшие в жизни,
запах летучий серебряных трав у перрона...

Нас разделяет почти атлетический пласт —
сей океан — Б. добавил бы: сельдью известный...
Сбившись с пути, я твержу и твержу с середины:
что-то до этого... снег под подошвами? наст?
воздух зимы белотрубный, болезненно-честный?
лица прохожих?... зимой выразительней спины.

.....

Если лететь, возноситься, прощаясь с землей,
телом наклонным, лицом, обращенным к белесым
в красную полосу кратким туманам вечерним,
то — на Крестовском, представь себе это зимой:
ангелы смерти и пара подметок над лесом,
все убывающая, как в сновидении скверном...

* * *

P.S.

Где прошлое, в особенности то,
которого не помню, не уверен,
что я там жил, напяливал пальто,
подшитое убитым насмерть зверем,
и выходил в пространство... там — никто...

Но где уже случалась эта явь,
которой остановлен я сегодня:
пальто, и приоткрытый в бездну шкаф,
и нечто, что томится в преисподней,
себя своею памятью обстав?

И промельком — окно, белесый дым
над городом, где я всегда повинен
в ее слезах... о чем мы говорим?
зачем наш спор и муторен и длинен?
чего еще друг другу не простим?

.....

Какая тяжесть в том, что не укрыть
забвением себя, и — тяжесть вдвое —
не помнить ч т о ты помнишь, не любить
тех призраков, притянутых строкою,
которых ни изгнать, ни воплотить.

Стихотворения 1978-79 гг.

* * *

Вечер Капель синь
Уличный фонарь
мокрый апельсин
Зарево и хмарь

Ложное торчит
тело Ты мое
Как я нарочит
Лодочка-чутье

Влажное весло
вспыхивает там
Мост Не Ватерлоо
Тело по пятам

Кто во мне идет
на исходе дня
тело завернет
за угол меня

Островок сухой
от его пяты
стянется водой
Что здесь было Ты

* * *

Я жил не в эпоху войны,
не в пору гонений неправых,
не в горькое время вины,
на личных настоенной травах.

От пыли полуденной сер,
в припадках то зла, то роптанья,
я жил, как замотанный зверь,
заботами о пропитанье.

И дни мои сбились в одно
пугливое серое стадо,
я с мертвою болью в окно
следил за живучестью сада.

И слово искало порог
ступить и исторгнуться вещью,
но горло могучие клещи
сжимали, и зверь становился жесток...

Уж лучше б я был недвижим
и слеп, чем запекшейся речью
сращенный с тоской человеческой
задуман настолько живым...

* * *

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаюсь во мраке — во мрак
переходит, но высветяюсь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу —
удлиненные тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положенье...

* * *

Если заперты рыбы, прохожий,
подо льдом чернокровной зимы,
не сошлемся на промысел Божий —
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнурки.

Все могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косой и собачий
этот бег мостовой поперек,

и теперь, если ты не безумец,
у перил, на железном мосту,
ты останься без дома, без улиц,
без всего я имею в виду, —

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевелия металлический таз,

и, сочувствуя мерзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровоточащей раной зари...

* * *

Троллейбус, что ли, крив,
раздрызган и знобящ,
что едешь, полужив,
завертываясь в плащ,

дрожишь, облокотясь
на отсвет свой в окне,
без тела-то сейчас
ему теплей, чем мне...

Да, я бы мог не жить,
не видеть вообще,
и слов не говорить,
и не дрожать в плаще,

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
собой расщедрясь так...

* * *

Чем пахнет остывающий уют,
и комнаты молочное смерканье,
и женственная плавность этих рук,
как не ребенком спящим, как не тканью,
где затаился шелковый испуг.

Средь бела дня есть пауза, она
от тяжести любви почти свободна,
в ней женщина не мать и не жена,
и сбывшемуся так же чужеродна,
как будто на него осуждена.

Не я из ее паузы изъят,
я только лишь угадываю сумрак,
да зеркала темнеющий квадрат,
где в глубине графин с набором рюмок
мерцающее что-то говорят.

Тем лучше, что мы не были близки,
что порознь испытываем эти
приливы изумительной тоски,
которые испытывают дети,
проснувшись, когда в комнате ни зги.

* * *

Ты — лишь инстинкт переступанья,
инстинкт ступни,
услышавшей пересыпанье
песка и шорох
листвы в осенних коридорах,
где гаснут дни,

ты — только ритм преодоления
всех мер длины,
пульсация без направленья,
наклон походки,
зрачки, посаженные в лодки,
что так черны,

освобождение от шарфа,
от шляпы, блеск
волос, упавших, точно арфа,
меж пальцев, если
ты перед зеркалом и в кресле,
и слышен плеск

дождя, начавшегося с ходу,
чтоб жизнь в тепле
вдруг оттенила непогоду,
и вечер зябкий,
и женщину в намокшей шляпке —
там, в полумгле —

еще сильней, ты — согреваньё
еды, питья,
со стороны — ты — небываньё
на этом свете,
так отрешенно смотрят дети
из забытья.

* * *

Вот
и Нила разлив,
крокодильского Нила,
крокодильского Нила разлив.
На окраине Фив
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,
очи полузакрыв.

Ты
прекрасна, ты миф,
одаряющий щедро
благодарные полосы нив.
Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,
слышишь арфы призыв?

Не
дожив до войны
(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,
я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гону
той змеиной волны,

той
волны, исподволь
абиссинскою кровью
гор увитой... Но так не неволь,
распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крова, прокорма, здоровья,
и не сыпь эту соль!

И
бескрайний песок,
и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не мог
тебе верить, мой бог...
мое сердце, пишу, не восстань на меня как свидетель
по ту сторону строк.

* * *

Скучно жить стало, в этой связи
мирры, что ли, мне привези,
перьев страусовых, милый муж,
надоело в грязи —
то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья
от причуд моих и нытья,
с Пунта дальнего, милый муж,
скоро ль с глупостями ладья
завернет в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу,
милый муж, коли служишь злу,
служба — умным, нектар — для дур,
ты пахучую эту смолу
привези, да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнем
под твоим, милый муж, веслом,
пусть, с твоим дыханием слит,
Шу ни ночью дыханье, ни днем
от ноздрей твоих не отвратит.

А вернешься — податься из
этих мест хорошо бы вниз
по течению, там-то уж
ты простишь мой каприз
и тоску мою, муж.

* * *

Все совестней цепляние за жизнь,
а речь срывается в словесный шум, кишащий
самим собой, ты вылазке кошачьей
четверолапых строф бросаешь «брысь»...
Речь раньше разума, невнятность не каприз,
но чуянье и призрак настоящий.

И в дебри зарываясь, как зверье,
почуявшее смерть, она клокочет
тем человечнее, чем больше забываете,
чем более сама себя не хочет...
То жизнь моя, цепляние мое,
обвал и пропадание среди ночи.

* * *

Над дебаркадером ползет черно-серое небо,
пожиратель стоит пирожков,
и дымятся лотков маслянистые недра,
и в крестовом походе летящего снега
я прочитываю: Петергоф.

Все. Пора. Все. Пора. Затолкать себя в тамбур,
набирая и скорость и хруст,
пусть меха меж вагонами хрипло болеют катаром,
а на станциях двери, расфыркавшись паром,
останавливают вдали чернокуст.

Ради слова, растущего ветвью, энергией взрыва —
промахнувшись, бесспорно попасть —
ради внутрислогового в суставах его перебива,
перелома, сращенного верно и криво,
я и трачу построчную страсть.

Разве речь одержимого не пробирает до дрожи,
и ее осязаемый пыл
через голову смысла бросается на бездорожье
ослепительных чуждостей, но — и не тронутых ложью,
и исполненных сил.

Разве из черноты набегают огни Петергофа,
или это скорей
название жизни, и тяжеловесные строфы,
и ворчанье с ворочаньем в шубе, сцепления грохот,
шаг вовне из разверстых дверей.

* * *

Я тоже проходил сквозь этот страх —
раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, —
всех внутренностей, выгоравших за
единный миг,

и становился, как пустой тростник,
пустой насквозь,
пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос...
я падал в ад,

точней во тьму, иль в вашу Тиамат,
не находя
где финиковый сад,
где друг умерший, где мое дитя,
где солнца жар,

где ты, спускающийся в Сеннаар,
где та река
и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
летучий дар...

Я этим жил на протяжении лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мертвых, ни среди живых,
я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал
прижизненно, а зря или не зря —
поди, измерь...

Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри — река,
смотри — над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!

Стихотворения 1979-80 гг.

ШУМ ЗЕМЛИ

Потому что я смертен. И в здоровом уме.
И колеблются души во тьме, и число их несметно.
Потому что мой разум прекращается разом.
Что насытит его, тем что скажет, что я не бездушен,
если сам он пребудет разрушен —
эти капли дождя, светоносные соты?
это солнце, с востока на запад летя
и стгорая бессонно?
Что мне скажет, что дождь — это дождь,
если мозг разбежится, как дрожь?

Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,
называя небесным уловом то, о чем полупомнит оно.

Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.
До того, как пришел Иисус. До того, как Он спас.
Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут. Есть младенческий труд называнья впервые.

Кто их создал, куда их ведут, кто такие?

Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,
я смотрю на того, кто я сам:
пальцы имеют длину, в основании пальцев — по валуну,
ногти, на каждом — страна восходящего солнца,
в венах блуждает голубизна.

Как мне видеть меня после смерти меня,
даже если душа вознесется?

Этой ночью — не позже.

Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску,
пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя.
Дитя шевельнет губами.
Красный мяч лакированный — вот он круглит на полу.

А супруги, разлипшись, лежат не в пыли, и пиджак обнимает в углу спинку стула, и масляет вилка на столе, и слетают к столу беспризорные звуки и мраки, и растут деревянные драки веток в комнате, словно в саду.

А бутылка вина — столкновение светящихся влаг и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ — для объятий твоих, например. Покосится страна и запаянный в ней интерьер.

Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох для достаяния дна.

Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать, то подушка висит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше канавы. Станет холодно пуху в подушке. Спит гражданка уснувшей державы, коченея в клубочке, как сушка. Ты пейзаж этот лучше закрой.

Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит черномастных коней, разбегающихся по тротуару.

Ночь реки, шарящей в темноте батареей, загоняет под мост отару золоторунных огней.

Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскера.

Ночь головного убора на голове манекена.

Ночь всего, что мгновенно.

Проживем эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это не точный приют — пепелище? Что трагедия, если б не шут, тарабанивший в днище?

Вот почему ты рвешься за предмет, пусть он одушевлен, — чтоб нищенствовать.

Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.

Две смерти пережив — его и в нем свою, — не возвращай земного лика того, кто побежден, как Эвридика. Для обратной мертв его объем.

Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошел, твои края не те, где нищенствуют вместе или врозь — но нищенствуют в п о л н о й нищете.

Здесь расстаеться, нервы на разрыв испытывают, ненависть вменив в обязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из пустоты лет впереди. Печальнейший мотив. А более печального не жди.

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капель пустырника, и опасенье, что жизнь оборвется вот-вот, но еще, веселя, по капле дается, и вкусно сосется печенье. И крылышки моли из шкапа летят, нафталя.

В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана опущена душа левиафана, полночная душа его не спит. Он с общим содержаньем столь же слит, сколь форма его в мире одинока, и, огибая континент с востока, — уходит, как чутье ему велит.

И высится в море терпенье скалы, осажденной таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.

И разум упорствует, противоборствуя тьме. Но тотчас, из хаоса выхвачен самосознаньем, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянью, подобному небу, когда оно ближе к зиме. Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он расхищен на страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора — только принять умиранье всего, что он слышит, принять его в ясном уме.

...коротенький отрывок рода —

А. Блок «Возмездие»

Мальчик встанет, телом тонким потянувшись, мальчик
встанет, умалением свободы — поперек — сегодня станет, а
сквозящую наружу душу плачем остановят, а возьмут обидой
горло те, кто мальчика изловят,
подойдет к тетрадке мальчик и запрет в портфель тетрадку,
аккуратно съест яичко, мальчик съест яичко всмятку,
голубой белок, который приварился к скорлупе, соскревет
фамильной ложкой,
затеряется в толпе,
он в автобус сядет львовский на большое колесо и покатится
на Невский в одинокое кино.

Вечерняя ворована сирень, все запахи затылочны и гулки,
за папиросною бумагой брезжит день, как бы рисунок в
«Малахитовой шкатулке»...

Так мальчик возвращается, дрожа, с букетом маме, постарев-
шей на год, как жалко маму, как колотится душа, как гости с
хохотом на птицу подналягут...

Когда бы нюх звериною чутья мне щупал путь, блуждая по
Европе, то запах отыскался б не в укрепе, а в комнате для
стрижки и бритья —

картавый тип с повадками врача, орудя машинкой по
затылку, то выпускает в зеркало ухмылку, как скользкую
рыбешку, то с плеча прицелившись и отведя бутылку,
сжимает грушу, дурно хохоча, — и вот затылок холоден и
странен, и мальчик освежен и оболванен, —

иль в мастерской, где чинят обувь и на подметку ставят
крест, башмак тем самым обособив, его отправив под арест, —
там и накинется средь острий снующих игл, блестящих шил
дух кресел кожаных, подстил, подметок, разрывая ноздри,
а люд, чей говор-непотребник так аппетитен и Бог весть о
чем, — напомнит про учебник, где о ремесленниках есть...

Черно-красная ночь Украины,
деревья в руины
обратились, пока добрели
в эти дебри равнины.
Рембрандт выгреб угли,

и на миг загорелись морщины
предыстории — старцев, их стад —
с аравийской пустыни
переписанной в сад.

Паровозный ли окрик,
холодный ли погреб —
по ступеням — наощупь и вниз —
капель мокрых
просыпанный рис,
там сметана, там масло, там шорох...
утра влажно-зеленый стручок,
или полдень дрожит на рессорах,
или вечера холодок...

Там подсолнух — затылок шершавый,
зеленый и ржавый,
сонно-белый, когда поперек
он разломлен коряво,
ночь, звезды огонек
пересек небеса за Полтавой,
да урчащий перрон,
где украинский говор картавой
буквой «р» засорен.

На противоположном берегу
реки, через которую грохочет —
крест-накрест — мост железнодорожный,
пасется стадо яркое с утра —
так чертит грифель, смоченный слюной,
и, вытворяя брызги на бегу,
припляжная красавица хохочет,
за ней, смеясь — на шее крестик ложный —
бежит хозяин пляжа, их игра
меня томит, за шахматной доской
два мальчика исследуют носы,
два гения в панамках от удара,

их бабушки в белье бледнозеленом
с кульками из сегодняшних газет,
с кульками окровавленными вишен...
В кружении полуденной осы
приходит сон, в удушливости пара,
в депо, на паровозе раскаленном
сжимает машинист в руках обед...
Мне виден каждый жест и голос слышен,
я помню кто что делает... Тогда,
уже тогда я был ничем не занят:
хоть слабых мира понимал легко я,
а сильные мной правили вполне,
ни тем, ни этим не принадлежал.
Так только первобытная тверда
душа бывает — мир еще не ранит,
но проникает темные покои,
и лилия горит на самом дне
вспоминанья...

Когда проснувшись, к тамбуру спеша,
проснувшись от качнувшего толчка,
на ранней остановке, через гарь
растопленного чайного бачка,
когда, чуть недонежившись, душа
еще хрупка, как юный государь,
когда мелькают ведра и кульки
торговок вишен, яблок или груш,
и проводник, свой китель доодев,
обходчику кричит благую чушь,
и солнце зажигает край реки,
на улице поселка, меж дерев,
ты видишь — беспокойству далека,
вся пахнувшая сонным молоком,
высокая, в накинутом до пят,
медлительно, и тонко над плечом
лежит кувшин обнявшая рука,
когда картина, тронувшись назад,
и ты идешь растерянно в вагон,
от чуда все навеки потеряв,
где спят тела, покачиваясь в лад,

и скорость набирающий состав,
крутые яйца, курица, батон,
и любопытства равнодушный взгляд
соседа сверху...

Перрон, как в гречневой крупе,
в коричневых и черных зернах,
жизнь детских глаз внутри купе,
больших, растерянных, минорных,
прилив сочувствия к себе.

Кто гречку так перебирал,
вода ладонью по клеенке
зеленоватой, как вокзал,
живущей запахом в ребенке...
Я в жизни лучшего не знал.

И бедность жизни и минут
при тихом троганье вагона
в полубезумии плывут
за край всего, что я бессонно
люблю, и большего не ждут.

И я не жду — мир ни красив,
ни страшен, как ни обозначим...
Вот так и жить бы, как прилив,
одним сочувствием и плачем,
з а ч е м — ни разу не спросив.

...так осенью проехать мимо школы
своей, так под лопаткою укол, и
так очередь дрожит в медкабинет
эмалевый, так дни перед осмотром
с желтеющей листвой, с карминным кортом,
с тоской дистиллированной тех лет,

так пахнет, проступая из тумана,
сад осени больницей Эрисмана,
так гулко осыпается трамвай,
так розовых солдат плывет колонна,
как в ауре, в парах одеколона,
Патрокл, Агамемнон, Менелай,

так хочется запоем, жизнь приблизив,
все перечислить, смыслом не унизив,
так города избыточен размах
вернувшемуся с дачи, так хватает
он воздух из такси, и так не знает,
зачем он возвращается в слезах...

Этой женщины трудные очертанья,
есть фигура и некая угловатость...
Как единственно зренье, сестра, — это больше, чем радость —
это радость, и горе, и бережных сил испытанье.

Осень, женщина в створе дверей у стола,
над рукой голубая и дымчатая ваза,
под рукой леденящей клеенки четыре угла,

и, собой потрясенные, расположились тела —
их смертельная ясность, и осени рыжая фраза.

Как все замерло — как в ожиданье письма,
не поддавшись восторгу с его раздраженной изнанкой,
поздравительный запах открыток, бинокль, валерьянка
в том шкафу, в стылой комнате, полной собраний чужого ума.

До свидания. На ослепительном фоне окна
я обмолвил тебя и подумал, топчась в коридоре:
если это похоже на что-нибудь — только лишь на
драматичность семьи, ее радость и горе.

Медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

Ты тяжелую дверь отворил,
а за ней не свобода, а гнет,
что-то в прошлом отец натворил,
что тебя искупление жжет,

ты увидел, как, в кресле дремля,
над газетой он дышит с трудом,
как его накопила Земля,
так копил он для жительства дом,

в этом доме сопрели углы
от согрева кошачьих ковров,
и приметы тебе тяжелы,
и прекрасен однако же кров,

и к нему твоя страсть привилась
с тем напором пороков живых,
что и ловкая кошкина страсть
нюшит возле подмышек твоих,

ты в любви был зачат среди дней
небезгрешных уже потому,
что в тебя перелили вину
забывания сном потемней,

задремания, в кресло осев,
в те часы, как небесная синь
расправляет себя меж дерев
для бездомных совсем благостынь.

Вроде кладбища
кругом серый камень
голос лающий
и бегущий за облаками

и приводят к нему
умирать кто должен
к камню этому
до которого дожил

вдруг отца ведут
страх предстал глазам
закричал я тут
как будто умер сам

и по камню песок
белым бегом рябит
ни один предмет
ни о чем не говорит

только солнце в висок
жмет лучом своим
и бежит под ним
по камню песок

Развеселись, теперь развеселись,
не снизу вверх смотри, не сверху вниз,
перед собой смотри, и между складок
горчичных штор вдруг высветится жизнь
твоей семьи, пришедшая в упадок.

Там стар старик и женщина стара,
то царство, что возвысилось вчера —
сегодня пало, холодом озноба
охвачен дом, поэтому пора
развеселиться... Господи, еще бы...

Танцуй на пепелище, потому
что нет ни воплощения ему
другого, ни другого завершения —
лишь танец, адресованный Тому,
Кто нас избрал танцующей мишенью.

А дальше-то вот что: под утро ключом
сверкнув, привалившись плечом
к дверям, отворишь их и юркнешь в тепло
чуть спящего дома еще,

еще не осмыслена сила вещей —
шарфы отдыхают от шей,
еще не расправлены тягами рук
перчатки в карманах плащей,

и в старом трюмо, как в картинке одной,
рождественской, переводной,
нажимом еще не проявлен пейзаж
таинственной жизни ночной,

здесь ночью сходились дыханья одних
с тенями предтечей своих,
и вновь разбрелись по разным углам,
к родству обязуя родных,

ты вынесен внутренним ветром кровей
на берег отчизны своей,
приливом колеблем, как снасть на песке,
снимая башмак у дверей, —

ты чувствуешь, что утопился букет
сирени на кухне, на нет
он сходит в прихожей, себя бормоча
и собственным прошлым согрет,

еще остается тот час до утра,
в котором есть завязь добра,
еще среди хаоса бытность семьи
ручная — сильна, как вчера,

там город бутылок из-под молока,
пустой, но не сданный пока,
и старый графин с кипяченой водой —
его наклоняла рука,

и чашка в цветочек китайских времен,
и ложка над ней под уклон,
и в матовых банках, пресыщен собой,
айвовый и сахарный сон,

а дальше — на цыпочках вкравшись в покой,
где шторы просвечены той,
пусть школьной, но полусвободной уже,
светающей, майской порой, —

одежду свою побросаешь на стул,
и в миг до того, как уснул, —
вдохнешь ледяную, льняную постель,
на ней распрямив этот гул.

Это есть облегание темы, обступанье словесною
тьмой внутрь себя светоносного темпа шевеля-
щейся жизни одной,
ты ее не поймешь, не раскроешь — так увит в
скорлупе ото всех, как свернувшийся моря
зародыш, закипающий грецкий орех,
это жизнь, что тебе и не снилась, потому что
ушла от людей, затаилась, ушла, заслонила,
больше нет обаяния в ней,
это рифмы на строчечных сломах оцепляют,
бесстыдно трубя, неприступную цель, это
промах по мишени, щадящей тебя.

Волнуемое море непрестанно
меняет очертания свои,
над островом — могучие ступни
рванувшегося в небо Ханумана.
Задолго до того, как в оны дни
скрутили этот гул в стволы органа, —
все было так — не поздно и не рано
для мозга, где и вспыхнули они,
стихии, совершаясь непрестанно...

и человек в гостиничном дыму
всей жалостью к проезжему — как странно! —
вдруг обращен, сочувствуя ему,

и человек, накинувши пальто,
идет на пристань, мерно полагая,
что смерть — скорее тьмущее ничто,
чем что-нибудь, чем что-нибудь, родная...
(он третье с первым путает лицо,
по городу приморскому плутая),

он думает, что музыка одна
меж формой конечной и стихией,
не знающей спасительного дна,
еще находит лестницы витые,
духовного движения полна,

он думает: зачем гордишься ты
своей сосредоточенностью чудной
(хотя бы и на пристани безлюдной,
среди намокших досок и слюды),
зачем, зачем не знаешь простоты
единственной, текучей, многотрудной,

он слышит гулы шквальные о том,
как трудно перемалывать глубины,
творя и растворяя без причины
блеск плавников в холодном блеске глины,
и чует этот холод животом.

Странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
кладбищ сухая весть
дрожит на ветру
и трепещет жечь,

странно, что и здесь дверь,
что и здесь
приоткрыта дверь
в комнатную нору,
где человек есть,

что его насквозь жаль,
что до чужих слез
жалости ему нет
дела, что и со мной врозь
его печаль,

что на солнце крест белес так,
что глаза слепит,
и, шелушась,
краска с него летит
в степь,

туда, где мак
дик,
где от любых влаг отвык
почвы слух,
треснувший, как крик

боли вразрез
жизни, которая здесь
привилась вкось,
уронив лишь
в виноградную гроздь

зеленый вес
запертого дождя,
странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
теплится, как дитя,

этот со стороны
быт невыносим, чужд,
что мне до их нужд,
другой страны
тяжел вид,

тяжелее вдвойне
тем, что вдруг
не найду мне
близких, что их совсем,
возвратясь, не найду,

тем, что их вижу во сне,
словно смерть
репетирую их,
расположенных вне
освязаемости моих

глаз, тяжелей
тем, что и здесь, твержу,
жизнь, и здесь,
тем, что ее пишу
вскользь, с ней

не примиряясь весь.

Это степь, и сухое пространство, как луковица, сухое,
с шелухой, осыпающейся на пастбище зноя,
это жирные шпалы, кишечник депо, это мельком
занавески на крайнем домишке, кривая скамейка,
и детей худоба — только ребра и лица в разводах
перламутровой грязи, и курицы на огородах,

вроде серых, кудахчущих, бегающих подушек,
это солнечный слепень сыпучих, живучих и душных,
обезумевших метров земли, где стрекозы и мухи,
и на ящериц смахивающие гнезятся старухи...
Ничего нет грустнее кирпичных заводов предместий,
известковых окраин из досок белесых и жести...
Как здесь люди живут? как? (особенно после обеда)
пахнут щами? ложатся в песок? как дается им эта
полужизнь? почему они не умирают
от прохлады и влажности мысли о море, только пот утирают?
Это попросту взгляд непричастных, поскольку проезжих,
глаз снаружи, а жизнь расточается внутрь, и нежных
и невидимых сил этот взгляд не вбирает, и все же —
это степь, и сухого пространства горячая кожа,
загорелые, масляные, вдыхаемые детьми руки
слесарей, машинистов, обходчиков полые стуки
по коленным чашечкам поезда, его крупные мышцы,
это пыльной и низкорослой листвы шебуршащие мыши,
это все, что изжаждалось пить, как каторжанин
из хрустящего на зубах Экибастуза иль Джекказгана,
он ручьем захлебнется, он вылижет его русло,
он три дня будет пить, чтоб не так было грустно
умирать, это бредящая ливнем окрестность,
чтобы впадину рта напоить и воскреснуть, воскреснуть.

Он о бесплодности чувствовал, о пустоте,
тщетности полрой, задетой движением жизни...
Как было сердцу в такой духоте, тесноте
клетки грудной не склониться к тупой укоризне,

как не уперлось оно в костяное ребро
в злых захолустьях, на мусорных ямах, в укромках
бедных... Ты скажешь: сквозное добро
сердце спасло... Но посмотришь, как бьют насекомых

малые дети, как давят подошвою их,
и усомнишься в его изначальности милой.
Есть равнодушное, зыбкое поле живых,
для пропитанья не знающих нежных усилий.

С жизнью слепых отношений — куда уж слепей! —
пасынка с отчимом — не примиряясь коситься,
отчима с пасынком — то ли заискивать в ней,
то ли свыкаясь угрюмо и медленно злиться —

как избежал он? Отваром полынной травы
сердце лечил, или к морю спускался прилежно
и тавтологию синей насквозь синевы
впитывал, как и оно — равнодушно и нежно,

а возвращаясь, подолгу сидел, как старик,
горбясь над рукописью, чтоб угловатой
фразой скелетообразной поставить в тупик
мрачную суть, как бы взяв ее невиноватой?

Я его видел, он мертв был, скорее всего
мозг вещества его жизни, измучившись прежде
горечью мироустройства, иссохнув в надежде,
попросту больше не чувствовал ничего.

Кто меня перевертывал на спину, я уже свертывал, говорю
тебе, свертывал, я уже так отдыхал отдыхающим сердцем и
кровь остужал свою, свертывал, остужал свою, свертывал,
свертывал и остужал. Я от жизни устал, посмотри, я комок
своей боли, перепрыгнувшей уровень жизни, свободы,
неволи... Кто сказал — это смерть, констатировал, в правом
шкафу обыскавшись аптечки, овевшей йодом строфу

Куда теперь плыву, так долго шел к разгадке предстоящего
отплытья, открой окно, там что? — Эдем? Шеол? или следы
кошачьего наитья, по снегу уходящего в подвал, да скрип
шагов, открой его пошире, проветри, здесь покойник, он
устал от смерти, закупоренной в квартире, открой окно, не
бойся, подойди, я век своих тяжелые надгробья приподыму и
гляну исподлобья, открой, мне одиноко взаперти

(На всю пустыню — льва кровавый рык, пески как кровью
вскормлены, их запах пусть привлечет соперника царю. Царь
— таковы повадка, грива, пасть — бретер непревзойденный.
Трубным ревом распарывает слон ночной Цейлон и просы-

пает дробный свет лагун, как жемчуг, в бархат ночи. И губастый, под цвет корицы, ропщет среди гор на летний гром разлапистый медведь. Взгляни, эфеб, в окно своей мансарды, где — ты и пианино напрокат, где ты лежишь и стискиваешь край подушки, где ты корчишься от муки, и немота огромней горьких слов. Взгляни туда, на крыши, дальше крыш, они и над тобою простирают свои крыла, и ты боишься их... Вот дети, ненавистники идей: льва укротить, чепрак слону примерить и фокусам медведя научить)*

Я шум оглушительный слышу Земли, троллейбусных шин закипанье — то дальше, то ближе, то снова вдали, то мокрых подошв лепетанье, то жести прогибы под тяжестью лап, уродливых лап голубиных, то — блюдце на полке колеблющий храп соседа, то в тайных глубинах квартиры, где плохо обои взялись — меж ними и дохлой стеною — как сердца обрыв, осыпание вниз трухи совершенно пустое, я слышу, как жмутся предметы к Земле, стакан в подстаканник как вогнан, как сумма их тел отразилась в столе и вышла за черные окна, для жадного слуха все — Слово и мощь, для мертвого — вдвое и втрое, открой, отвори, это снег, это дождь, доснежие, что-то другое

Я дальним эхом знал, что Слово — Бог, я чуял точку ту, где жизнь словесна, а Слово тесным яблоком телесно, о, ты Его узнать бы в ней не смог, в ней яблоко берется целиком — всем шелком кожуры, надкусом кислым до семечек с их черным, клинописным на лунках перепончатых письмом, а прежде — ветвью с сорванным кивком, а прежде

(Меня проникни, — молвил воробей. — И ты меня проникни, пролетая над нашей рощей, — камень отвечал. Ке-ке, крапивник, сойка, бре-ке-ке, малиновка, клокочущее горло, проникните, проникните меня. Когда-то были капли у дождя, как языки без колокола — глупо. Проникнуть — значит их объединить под колоколом неба. Голосок из хора, бре-ке-ке, обрывок фразы, зерно гранита, взятые вразброд, одно лицо — печать одной судьбы, изделие пустое стеклодува, отдельное лицо, глаза без век — все это трубадуры без любви. Но вот Земля, где первый лист — есть повесть о листьях, как о птицах — воробей, как этот камень — повесть о камнях, проникни их,

проникни эти формы, подобные другим. Они умрут) *

Вот что я думал, чуть штору отодвигал, в улицу вглядывался
ночную, радость испытывая почти неземную, лишь сигарету
огня язычком зажигал, как крохобор, пересчитывающий свои
деньги, считая секунды летящего снега, вот что я думал:
пусть я обознался, мои эти секунды — ни с чем не сравнимая
нега, я засыпал, не имея, казалось бы, прав спать, оставляя
на произвол это чудо, но ведь и сон — это чудо, себя рас-
пластав, тихо лежать, согреваясь желанием — буду

(В небесном запустении квартир идея жизни кроется, идея,
из коей оно было рождено. Однако же насилие над ней, над
первою идеей, так фатально, что и в трудах поэта — духота.
Он бегаёт туда-сюда весь день. Да может ли в саду быть
запустенье? Скажи мне, грамотей, чему там быть? Монах —
это прекрасно. Пусть мудрец с гармонией нас общей согла-
сует. Но и мудрец ж е л а е т и монах. И не и м е т ь — не
значит ли ж е л а т ь? То, чего нет — иметь, и круг замкнул-
ся... Это желанье мощное зимой, на склоне дня, все тише, все
темней, и в ауре плурует куст жасмина, и слышен чистый
гимн календаря. Желанье знает: нет того, что в нем, и силит-
ся себя задуть под утро. Так утро гасит лунный свет и сон) *

Я верил в бога Ра,
я богоравным был,
пока в ладье он плыл,
пока сиял он дивно,
пока я неотрывно
весь день за ним следил.

Я был ребенком, мир
мой бог мне даровал,
я жил, я ликовал,
и в той песчаной почве
мой мертвый предок порчи,
спеленутый, не знал.

И вдруг мой бог погас,
и стала жизнь темна,

и, не нащупав дна,
я побежал, безумясь,
в пески, где, как Анубис,
лежала ночь одна.

Там верховодил лев,
там царствовал орел,
там друга я нашел
земной надежней тверди,
он спас меня от смерти
и сам ее обрел.

И вот с лица Земли
могучий друг исчез,
я землю рыл, я лез
за ним в земные недра,
но не нашел, как ветра,
его ни там, ни здесь.

И я пошел бродить,
и я бродяжил век,
и увидел ночлег —
то некто шел из Ура,
был препоясан шкурой
овечьей человек.

И я пристал к нему,
и пас его стада,
и в поздний час, когда
стада и травы никнут,
я трижды был окликнут:
ты слышишь голос? — Да.

И духом я окреп,
и жертвенник возжег,
и в жертву все, что мог
принес Тому, Кто вскоре
передо мною море

открыл —

Так посещает жизнь,
когда ступня снимает песчаный слепок дна,
так посещает жизнь,
как кровь перемещает вовне, и, солоня, волну теснит волна,
как складки влажной туши лилового и мощного слона,
распластанного заживо на суше, и в долгий слух душа
погружена,
так посещает жизнь,
как посещает речь немого — не отвлекусь, не отвлекусь,
и глаз не отвести от посещения,
и если ей предписано истечь —
из сети жил уйти по истеченьи дыхания — сверкнув, как
камбала,
пробитая охотником, на пекло тащимая — сверкнула и
поблекла, —
то чьей руки не только не избегла, но дважды удостоена была
столь данная и отнятая жизнь,
Я Сущий есмь — вот тварь Твоя дрожит

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идет по косой,
всест горем, покоем,
и песчаной косой,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
весь сонным Азовом
с Сивашом пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно приник

Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня
из ряда предметов, уравненных зимней луною,
еще затихала иного волна бытия,
как будто в песке, несравненно омытом волною,

еще возбегали в ту область ее мураши,
нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,
и запечатлелась озерная светлость души,
пока на окраинах доцокотали копытца,

причиною страха был ангел, припомненный из
ангины и игл, бенгальским осыпанных золотом,
и если продолжить, то чудные звуки неслись,
и створки горели, просвечены тонко гранатом,

и женщина, ты —

из белого тела была ты составлена так,
как песня того, кто тебя бесконечно утратил,
тот лирик велик был и мной завоеванных благ
он более стоил, поэтому их и утратил,

он был вожакom, протрубившим начало поры,
когда с водопоем едины становятся звери,
и в джунглях у Ганга топочут слоны как миры,
и тени миров преломившись ложатся на двери,

и фермер Флориды следит, как порхающий прах
монарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,
своим атлантическим рейсом связует мой страх
с его стороною,

и запах был тот, что потом к этой жизни вернет,
явившись случайно, явившись почти что некстати,
и свет, что так ярко, и страх, что внезапно берет,
впервые горят над купаньем грудного дитяти.

Стихотворения 1979-81 гг.

* — в скобках — из американского поэта У. Стивенса.

ЗИМА НА КРЕСТОВСКОМ

* * *

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной ямы, своей чернотой смертельно напуганной, вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче, помнишь, твердившем в Воронеже: выслушай, вылечи, я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем, только с тобою, еще нерожденно-нежнеющим во временном послезавтрашнем срезе, ты выуди смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди быть в этой угольной яме, безумной от копоти, выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте письменной речи — возьми ее в виде образчика речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика, в страшной истории так откопают умершего, Господи, он еще дышит, утешься, утешь его...

* * *

Слушай! Когда тишина над рекой бессловесна, там, на кольце сорок пятого с семьдесят первым, там, где деревья стоят над рекою отвесно в чем-то сыром — то коричневом, то светло-сером, — дни моей жизни таким убывают манером, что пресловутому сердцу становится тесно.

Слушай! В ветвях облетевших не больше смиренья, чем — в оживленных листвою, но в осенних пробелах ищет смиренных сестер сиротливое зренье прямолинейнее... И в монотонных пределах низкого неба, среди облаков крупнотелых, осени блеклое солнце — ему озаренье.

Что же, не зря облюбован был мной этот угол, где по ночам, в черноту непроглядную в оба глядя, твердил: примиришь! если кто и напугал в жизни — ты сам, примиришь, привыкай к форме гроба в этой камерке, где затхлости запах особый, где ты безверие зябко в иронию кутал.

Что же, отъявленный бред полагать, что за ширмой
был кукловод, разве он уместился бы в образ,
нет, никогда, никогда ты не слышал надмирный
голос Того, для Кого ты придумывал голос,
хоть и не верил в него, и осенняя морось
все застилала, как жгучей тоскою обширной.

Слушай! Когда вокруг полуденной точки свернувшись,
день, не успев посветлеть, угасал, там, где вечер
осени поздней под дверь мою сбрасывал тушку
голубя — вот благовещенье! там, где я встречи
этой пугался и вздрагивал, там, где диспетчер
метрах в двухстах, на кольце, превращалась в старушку,

слушай! там дни моей жизни текли неизбывно,
впрочем, щадя и ночные часы замедляя,
там, где последний автобус гасил свои бивни,
там, где инерцию наглого слова теряя,
я засыпал и вставал, уже не понимая
прошлого дня с его пульсом тяжелого ливня.

* * *

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,
это город готовых
к вымиранью людей.

Это город детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог —
если хочешь, возьми —

это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с желтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

ну, живи, цепеней...

* * *

Вы просыпались рано утром,
зимой, когда по цвету дыма
из заводской трубы — определяли
температуру воздуха... Тогда
вы знаете, как ищет мысль лазейки —
какмышь, откопанная на морозе,
живая, обезумевшая, в страхе
бросаясь напролом —
еще бы, этот холод, эта ночь —
жара и день в сравненье со смертельным
их сочетаньем... Месяц, как твержу:
я еще здесь, здесь, здесь,
Господи, здесь —
не разжимая губ твержу и продолженья
не вижу столь же истинного...
Вы просыпались рано утром,
зимой, проездом
вы замечали в окнах заводских
рабочего, вы думали: как рано
он приступает к выполненью плана —
такой живой! вам не было смешно...
Вы помните, вас в детский сад будила
передовая сталинская мама,
включая беспощадно свет
и радио одновременно,
а вы за миг до этого
всей мышечною, мышьей жизнью
в сон зарывались под одеяло,
вы помните, как в детство проникает,

в столь раннее, что — навсегда, — казенный
линолеума запах, туалета
и кухонный непостижимый дух...
Вы просыпались рано утром,
зимой...

* * *

Эту бы зиму проспять,
подлости бы не видеть,
холода бы не знать,
только бы не ненавидеть,
только бы мышье «боюсь»
с телом трусливым не зналось,
только бы не казалось:
строчкою зацеплюсь.
Эту бы ночь пробубнить...

— Ты и не так еще сгнешь,
самое трудное примешь,
вовсе захочешь не быть.

* * *

Когда бы знал что ждет,
не захотел бы жить,
но ты всегда лишь тот,
кто и не мог не быть,

но если здесь дышать,
таких измен, как та,
ты бы не мог не знать,
ты бы не жил тогда...

И говорю: прими,
ты не обманут, но
лишь окружен людьми,
и потому — темно.

* * *

И от любви остается горстка
пепла, не больше наперстка.
Нет, не страшно стало душе
быть нелюбимой уже.

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышинный привратник.
Чей ты теперь? Ничей.

Будешь двуруким теплом двуногим
жить, согревая тьму,
счастьем обязан был ты не многим,
будешь зато — никому,

это и есть твое счастье... все же
это еще и твой страх,
что и тогда тебе Бога дороже
будет пепел, наперсток, прах.

* * *

Человеку нужна только комната,
комната и кровать,
чтобы не метаться из города
в город, не ночевать
на вокзале, не дрожать от холода.

Человеку нужна только комната,
чтобы молиться всею ночью
и вседенно о себе и о ком-то
еще любимом, чтобы чувства мощно
высились, подобно иконам.

Человеку нужна комната
и жизнь, прожитая неверно,
с ненавистью, с удушающим опытом
измены, трусости, скверны
пошлого на ухо шепота,

чтобы сердце рвалось, потом окрепло
и превратилось в скалу, чья память
не возрождает из пепла
любимых, ни подниматься, ни падать
не умея, но лишь стоять ослепло.

* * *

Письма любого времени

1.

Я удалился от дел государственных, царь,
вечером выйду — часами стою у реки,
думаю: ты оказался не лучше собратьев — как встарь,
царствуешь смыслу и правде живой вопреки.

Бог терпелив, искушай Его, не искушай —
кушаний царских за это тебя не лишит.
Что тебе будет? Ни глад не возьмет, ни лишай,
ибо хвороба и та тебя в страхе бежит.

Думаешь — вечен? Не думай. Где стол, там и гроб.
Все, что останется от государственных дел:
барин, чиновник, торговец, солдат и холоп,
жирная свалка еще (из оставленных ими же тел).

2.

Я удалился от дел государственных, брат.
Впрочем, вполне удалиться от них не легко.
Службу несую: нежилых отопитель палат, —
тот же абсурд, но от царских палат далеко.

Вечером выйду — часами стою у реки.
Что в ней прекрасного? Так бы всю жизнь и смотрел,
птиц бы кормил, они старческой слабой руки
столь не боятся, что я ради них постарел.

Смерти насильственной я не хочу, я не пес,
чтоб меня били кнутом и внушали: служи!
Разве что ключница насочиняет донос
по простоте и ретивости дохлой души...

3.

Жизни моей истекает здесь пятый уж год,
ты не кори меня сильно, хотя и герой.
Тайной свободы никто моей не отберет,
мог бы соврать тебе, что и не надо другой,

но не соврну... Да и т а й н ы х лишали свобод...
Дело не в этом, у всякого правда своя,
пафос же твой — возмущать своей правдой народ,
тем потрафляя тщеславию, думаю я.

Есть еще святость, ты знаешь... Но с виду — нема,
кто ее может исчислить, незрим ее лик...
Не удержаться от голоса, слова, письма...
Как там, в Ливонии, так ли прекрасен язык?

* * *

Феноменальность жизни моей, шага,
вдоха грудная тяга,
коченеющий утра пустой объем
и шаги мои в нем.

В жизнь упавший, в чехле
кожи, с принятой на земле
логикой мышц, суставов, костей
вертикальных людей —

я иду к остановке и там стою
безмолвно, и не перестаю
шевелить от холода пальцами ног,
весь — удар прицельного бытия и его срок.

* * *

Ребенок спит, подложив под щеку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег — ни фабрик вблизи,
ни черных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребенок спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.

* * *

О радости — как засыпает мост,
как засыпают полувеки
его пролетов,
как снег летит в деревья, в их навеки
открытый мозг,

о русле, где лиловое сверло,
своих тяжелых оборотов
вращая бремя,
колеблет цепи ртутных переметов,
и занесло

мой спичечный — по крышу — коробок,
дарованный на время
сезонной стужи...
два-три пейзажа, чувства, две-три темы
и детский бог —

вот все, что есть, все крохи изнутри,
о радости, о разности — снаружи
покой могучий,
душа иль плоть — они так много хуже
любой поры.

Лишь точной речи, поднятой со дна,
влажно-сыпучей,
вся разность эта —
ослепшей речи, поднятой на случай —
всегда равна.

О радости — как засыпает все,
как милицейская комета
летит, мигая,
наматывая зелень снега, света
на колесо...

* * *

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: Боже мой,
какая жизнь простая,

как все проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и все молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить...

* * *

Три времени года

1.

Чередование года времен
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоем
слушаем осени шум запредельный,
или вдруг слушать перестаем...

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдалеке...
Дверь отворяю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2.

За ночь снега под дверь насыпет,
я лопатой его разгребу,
оглянусь — параллелепипед
дома желтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть,
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3.

В угол, в уголь смотрел черно-синий
я вчера, и таких длиннот
вдруг услышал — не звук — пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине...

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,
ночь, утекшая в темень коры,
мир с голубизною подмерзшей
накануне цветенья поры?

Стихотворения 1981-83 гг.

Отрывок

...лучше комнаты чистой, пустой,
в пору сумерек, с тусклым свеченьем
уносимых теченьем вещей,
уносимых теченьем
и хранящих могучий покой,

лучше сумерек в пору лучей
там, за кровельной кромкой железа
утонувшего жаркого веса,
синеватых теней
на рельефе дверного отвеса... —

всей спиною к нему прислонясь,
так и вплыть ненароком, небольно,
с мандариновой долькой вдали
кислоты треугольной,
в темноту, в тишину несейчас,

несейчас, никогда, неземли,
в пору сумерек, умерек, в пору
сжатий горя — мы тоже прошли,
но спокойному хору
повинуясь, прикрыв за собой
белоснежную дверь с синевой...

* * *

Высокий и узкий мост над путями,
свистки паровозов, грохот сцеплений,
безногий нищий с кепкой и медяками
под кустом цветущей сирени,

город ставен с сердечками и песчаных улиц,
белый утром, днем желтый и ночью синий,
где есть свой парикмахер, свой безумец,
свой базар с влажно-гнилым прилавком,
пропахшим дыней,

Господи, с веснушчатой, рыжей жизнью
двух близнецов за забором хлипким,
со звуком из сада ученическим, чистым
будущей первой скрипки,

с комком у горла чуть ли
не у моего, но себя не вижу,
с дальней родственницей — белой, щуплой
девочкой над блюдцем двупалых вишен,

с острым кровосмесительным чувством
к ней, с полудетской лаской,
с теплым воздухом, в котором пусто,
как на каникулах в классной,

с дядькой, который все время шутит,
пританцовывая, и лет через десять,
Господи, умрет и обо всем забудет,
и еще через двадцать в последней строфе воскреснет...

* * *

Так жизнь заканчивается, в кресле
у телевизора... друг мой, взвоешь,
друг мой, этой жизни угасающей, пресной,
тихой, умопомрачительной хочешь?
Старость двух стариков сквозь желтый
свет в коридоре жалит сердце,
эти шлепанцы и кошелки
видеть, на стершейся, серой
подкладке жизнь эту видеть больно,
умирающую в тупике своего тела
равнодушно: «с меня довольно»...
Так жизнь сворачивается не сразу,
так тяжелые остановки духа
превращают любви совершенный разум
в жили-были старик со старухой,
так сбываются худшие предсказания,
так жизнь заканчивается, и об этом
прежде животворящее знание
вдруг наделяет погасшим светом.

* * *

Эти люди — держатели твоего
горя, не зря родиться
ты хотел бы ни от кого,
никому, никогда, никому, никогда не присниться,

я хочу сказать, что для них
твоя жизнь — непосильная ноша,
что любовь и тиранья родных —
это одно и то же,

эта комната — из породы палат
для душевнобольных — им застыт
сумасшедшие слезы взгляд,
истязают взаимные их боязни,

посмотри, они нервно кричат
и размахивают руками,
друг без друга жить не хотят,
и рожают ясных детей, и становятся безумными
стариками.

* * *

Есть чувства странные, живущие не в сердце,
но в животе, и даже не как чувства
живущие, скорей, как мышцы — свет
в подвале зажигая, полсекунды
ты смотришь никуда, чтобы они
успели незамеченными смыться...
и можно жизнь прожить, не отогнав
и не постигнув маленького чувства,
которое заполнило тебя.
Нелепость... Но когда родную дочь
старик подозревает не своею,
то не измена мучает его,
а то, что он любовь извел на нечто
столь чуждое, что страшно говорить.

* * *

Кто знает отдельную муку
глядящего в сторону Леты,
он разве расскажет кому-то
о сдвигах душевных пластов без просвета,

о мертвых толчках нутряного,
о выжженной к жизни охоте,
ему не до легкого, пьяного слова
на выдохе жаждущей плоти,

тоска его тяжеловесна,
из мощных провалов и сжатий,
ей каждое сердцебиение тесно,
тем более — слово некстати,

но вот и она проступает
на том берегу, где, возможно,
тяжелый законченный стих отдыхает,
и пробует жить осторожно...

* * *

Ехал ученику
дать урок на краю
города по языку
и в проезжую смотрел колею,

загорались огни
новостроек, вдали
лезли в душу
рельсы, шпалы, клочки земли,

вот отец его адвокат
предлагает борща —
«пища сталинская у нас, простая,
мы с сынком
остались вдвоем»,
е и е после щ,

где ее (после ш)
обитает здесь дух?
я смотрю на сынка, на хрыча,
проверяю на слух:

человеческий род,
этот полный абсурд,
пощадил бы и тот,
кто не полностью мудр.

«Я вас вознагражу»,
«Извините, спешу»,
руку гладко-сухую сует,
сын снует, сын на заднем плане снует.

* * *

Голос дышит тяжело
города на том краю,
точно в смерти дырчатое жерло,
выдыхаешь в трубку жизнь свою,

тонкой изморози зверь пушной,
стынет голос в раковине ушной,
и на родине, как в плену,
в телефонной будке ты вмерз в страну.

Только кровный тембр и спасет
слух, свернувшийся взаперти,
и насквозь потрясет
на обратном впотьмах продувном пути...

* * *

Две капли слепящие
вползают в квадрат
окна полуспящего,
как Тигр и Евфрат...

Родясь в междуречье,
пленного племени сын,

чужое наречье
застал ты своим,

и говор их воинов грубый,
и конское ржанье, и трубы
вошли в твой словарь,
и с кладбищ летящая гарь
налипла на губы,

страна камышей и каналов
(мышей, говоришь, и подвалов?...
я слышу...), прозрачной и пресной,
холодной воды, говорю...

и голос надтреснут,
и тянется взгляд к пустырю
чужбины воскресной.

* * *

Между тем, эта вымышленная жизнь
не хуже твоей, не хуже моей,
с теснотой по-коровьи толпящихся дней
(наподобье национальных меньшинств),

со свежевыкрашенным в хате полом,
где бухгалтер ходил, прятал ключи,
жил — голый череп в очках — долго
с женой и двумя дочерьми,

там не меньше пылает солнце,
чем здесь, и коза пасется,
и приезжего жениха кормят обильно...
(Помнишь? — спрашиваю сестру. — Помню — пыльно).

О, возможно на то и старость,
чтоб увидеть их счастье как шум и ярость...
но в спасительном свете, спасительном свете, и не иначе...
(мы там жили еще на даче),

там ходили с тазами они вчетвером
в баню, и возвращались, отмытый запах
клубы с дымчатым табаком
проникал в их ноздри, и в черных накрапах,

чуть припудренный желтой пылью,
шелковистый мак источал свой цвет...
Помнишь? Помню — идут между матерью и отцом
и смеются, не зная, что не было их и нет.

* * *

Еще хожу и говорю,
на голос отвечает голос,
из электрички тонкую зарю —
вот эту — я увижу ли еще раз?

Какую глупость совершить могу:
так втрогаться в стеклянно-пыльный
пейзаж, что говорить: я избегу
тоски грядущей, непосильной,
и не завидую не любящему жизнь...

Но я уже не верю
словам, которые произнеслись...

Мы — жаркие, вседышащие звери,
и ничего не избежим.
Тем ненасытней потрясенье,
когда в вагоне в тридцать тел дрожим
и дышим сумерками воскресенья.

* * *

В точке мира стоять,
тучным телом ее заполнять,

под молочную кожей руки
слабый воздух нежнеет,
и дождем, набираясь сознания, вдруг тяжелеет,
рассыпается на черепки,

и уходит буксир под темнеющий свод,
выворачивая рукав
мирового пространства, его, исчезая, взорвав,
разве был мне когда-нибудь год,

черепки, черепица дождя
затихает, и воздух, свежая,
снова ластится, как дитя,
и в ключицы впряженная шея
человеческий череп вращает для бытия.

* * *

Должен снег лететь,
и кондитерская на углу гореть,
мать ребенка должна тянуть
за руку, должен ветер дуть,
и калоши глянцевые блеснуть,

продавщицы розовые в чепцах
кружевных должны поднимать
хруст слоеных изделий в щипцах,
и ребенок, влюбленный в мать,
должен гибнуть в слезах,

и старик, что бредет домой,
должен вспомнить, как — Боже мой! —
как сюда он любил
заходить, как он кофе пил,
черный кофе двойной,

«Больше, — шепчет, — лишь смерть одна,
потому что должна
этот шорох и запах смыть...»
и глухая должна стена
тень его укрупнить,

и тогда снегопад густой
все укроет собой,
и точильного камня жрец
сотворит во мгле под конец
дикий танец с искрой.

* * *

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь...
Пока живем — живем,
пока вдвоем — вдвоем,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из нее сошьем?

Я не хочу смотреть
на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,
но как вместить обещанную твердь,
читатель иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
когда нас нет почти,
и дар случайный жить
нас понуждают скрыть;
я ничего не вижу впереди.
Как эту тьму кромешную вместить?

Дай, только раз вдохну,
дай, только жизнь одну,
пока живем — живем
пока вдвоем — вдвоем,
дай только жизнь еще раз помяну...
Жить будем ли мы вновь, когда умрем?

* * *

Шум, шум, шум
дождя шум, шум,
спит земля-тугодум,
я в подушку стихи прочту
не про эту жизнь, а про ту,
где и сердце, и ум.

Спит, спит, спит
земля спит, спит,
кто убил, тот и сыт,
я тобою лишь дорожу,
да еще двумя, кем дышу,
кто еще не убит.

Друг, друг, друг,
тебе друг, друг,
мое слово не вдруг,
ты приник к нему-своему,
как и я приник к твоему,
есть лишь родственный звук.

Лишь, лишь, лишь
дождя лишь, лишь,
под который ты спишь,
наполняет комнату шум,
шевелиющихся долгих дум
потрясенная тишь.

Стихотворения 1983-1984 гг.

* * *

Воздухом черемух
продышав вдоль дома,
с Вяземским проспектом слева,
в темноту вживленным купами —
воду убивал гребец с колена
и ушел под мост —

воздухом ночных, поспешных
возвращений — оспины жирафьей
нежной кожи или тень листвы —
я сказал бы все, но тот избыток,
воздух, воздух
непроизносимы вдоволь —

но с тех пор, как здесь
нет меня, с тех пор
я не жил — и ты одна глотала
этот воздух, возвращаясь поздно
слишком, чтобы мне хотелось
знать об этом, слишком возвращалась рано,

и поливочных ночных таперов
убывали над асфальтом пальцы
и под утро гасли, и останься
там, где, засыпая,
ты счастливей, чем в стихах бывает,
и любима, как простая местность.

* * *

Тебя на лестнице я встречу,
лица прекрасней твоего
или в него влюбленной речи
я и не знаю ничего...

И лампочки той запыленность,
и неба угольный пролом,
и речи быстрая влюбленность
в того, о ком она, о ком...

* * *

Квартира в три комнатных рукава,
ребенок из ванной в косынке,
флоксы цветут в крови сквозняка,
стопка белья из крахмала и синьки,

темная кухня, чашка воды
с привкусом белой рентгеновской ночи,
окна свои заматают следы,
разве ты можешь сказать, что не очень

любишь, и разве не знаешь, как сух,
плох этот стих — мимоходной кладовки не стоит,
той, на которую надо коситься, и двух-
трех обветшавших на плечиках, съеденных молью
историй,

это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
все достоверней, и если бессмертной души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

* * *

Шумящий сад шумит,
подъезд — кошачье небо — свет ребристый,
листья пугливый малахит
то с чернотой, то с прозеленью быстрой,

как лепесток, прохладное лицо
трепещет на губах и пахнет влажно,
глаза прекрасные с пылью,
фаюмские глаза протяжны,

как я люблю тебя, — он прав, что так сказал,
его пустырь или мой сад шумящий
с тобой — одною настоящей —
он стоит истины, когда б с ней не совпал...

* * *

Ряд встреч разрозненных,
в ту занесенных волей случая,
в другую ль прозу,
ряд беглых встреч и ряд измученных

о них воспоминаний ночью
(с кем ты была тогда? — есть счастье
неведенья, оно непрочно
и оттого так дышит часто),

ряд встреч, ряд проходных
дворов и вскользь
слов — лишь теперь — родных,
последней встречей-близостью насквозь

прошившей их и все
так выстроившей, точно жизнь,
в которую ты занесен
случайно, отстояла смысл.

* * *

Мы пробродили бабочковый парк,
попав с тобой под солнечный колпак,
и в этом вся печаль и радость вся,
факир был пьян, но фокус удался,

он полночью прикрыл нас, как платком,
и, сняв покров, он изумил зевак —
нас не было с тобой под колпаком...
о, как легко не быть и странно как!

Не отменять же пошлостью родной
неотразимый этот перебив,
под куполом судьбу перехитрив
и у зевак воскреснув за спиной...

* * *

Час полуденной тишины
в комнате, где наши дни
шли, сложившись в восемь
лет, и солнечная наступает осень.

Как спокойно, как помимо
нас все то, что с ними
происходит, мы с тобой — они —
в комнате, где солнечные гаснут дни.

И любовь помимо нас —
нам не надо ей мешать сейчас,
пусть останется, как остается свет
в комнате, где нас с тобою нет.

* * *

Днем в комнате зимы начальной
голубоватый свет и потолок белесый...
Я вижу тебя девочкой печальной,
вне сплетенного к жизни интереса,

без твоего участия день стихает,
придет с работы мать, суп разогреет
грибной (за дверью связка усыхает),
потом над кройкой и шитьем стареет,

еще увидишь: лампы свет прикроет
газетой, и такая грусть настанет,
как будто ты раздумываешь: стоит
или не стоит жить, — не слишком тянет,

я там тебя люблю, и бесконечней
не знаю ничего, не знаю чище,
прекраснее, печальней, человечней
той нерешительности и свободы нищей.

* * *

1.

Как я свободен,
как отцепившееся небо,
и никому не должен, и никуда не годен...
Я только вдоху повинуюсь слепо.
И это все, все, все,
живущему не надо оправдания —
столь выпукло его лицо
и явственно его дыханье.

2.

Это долгий путь
вдоль по набережной куда-нибудь...
Вдруг найдешь на краю
городского ума — в лопухах
и репейниках жизнь свою...
жизнь свою, ах...
Надышавшись мокрыми сливами
синей реки,
вдруг найдешь вопреки
смыслу — в пальто и кепке
жизнь свою в устройствах куда-нибудь кем-то
на работу... осенью, часа в четыре
найдешь себя у себя на ладони...
Это долгий путь в гаснущем мире,
в солнечных сумерках, на фоне
кирпичной стены...

3.

Я ли при жизни,
воздух ли здесь у лица,
свет обступает,
кто тебя видит и кем ты так выбран стоять
в солнечной осени возле киоска...

Нет никого, без тебя
кто бы не мог обойтись, нет никого,
боль — это то, что стихает...
Так ли правдиво-пустынно твое существо...

* * *

Вдоха чуянье сквозное,
и просвет многострадальный
в тучах вытяжкой печною
вторит вдоху, друг печальный,

и вступает в силу осень
исподволь, как стих опальный,
час высказыванья грозен,
все — утрата, друг печальный,

точно кто-то жизнью всею
поплатился за кристальный
воздух, в созданном не смея
не исчезнуть, друг печальный.

* * *

Если это последний
день, то я бы сошел
в том саду,
где стоит дискобол,
и холодный и бледный
свет горит, как в аду.

Дочь моя, или сын мой,
или друг мой идет
впереди,
черен твой небосвод,
город снежный и дымный,
нет другого пути.

Сохрани тебя Боже...
путь ли это домой
вдоль реки...
ты и вправду живой?
дай дотронуться все же
до пальто, до руки...

* * *

...из тех, кто ждет звонка и до звонка
за миг уходит из дому, из тех,
кому не нужно ничего, пока
есть не интересующее всех,
из тех, перебирающих листы
с печатными столбцами, находя
в них водяные знаки красоты
и — ничего, немного погода,
из тех, себя увидевших в родне,
как в зеркалах возможного, от них
бежавший и привязанный вдвойне
к отвергнутому, из еще живых...

* * *

Шуба. Солнце. Январь.
В шубе. В солнце. Лицо.
Небо. Облако. Гарь.
Мать с отцом.

Белизна. День. Слепит.
В белизне. В дне. Киоск.
В Гималаях так спит
снег. Как мозг.

Замер. Варезки. Пар.
В точку. Долго. Стою.
Крови внутрь удар.
В жизнь мою.

Школьники. Весна

1.

День солнечных томлений
со стружкой в луже голубой
ее в колечках утоплений
штанины школьников гурьбой

2.

Тонкошеих учениц гуськом
снега кружевным воротничком
вербы вдоль побегом из зверинца
дымчато-пушным
синевой небесною ничком

3.

В бумагу золотистую обернут
день как подарок развернуть мне долот
под линзой дымка древесный бормот
в земле размытой чайных роз осколок

4.

Вдруг четырехугольник
стены сплошь розовый без окон
в закатный глаз попавший школьник
мигает магниевый опыт

* * *

Ты, кажущийся, ты, проточный,
влетевший бабочкой с грозы,
приснившийся, ты, Чжуан-цзы
подобный, нежный, все непрочно,

к чему здесь прилепиться, вольный,
любить, летучий, — дождь, цветы,
святых зверей... но и довольно,
ты, вспыхнувший, погасший, ты.

Стихотворения 1984-86 гг.

СПЯЩИЙ

* * *

В сон погружаясь крушение
полутоплен дыханье
теплится в пене
и привыкает не стать в океане

вверх этажерка
склянок оркестр слепой
ржавые раковин жерла
рыб глупоокий покой

по небу пальчик
синему постучит
с той стороны кто-то плачет
с этой никто-то молчит

* * *

мальчик как мальчик в романе
выловит слово в бутылки
утро песчаное ранний
час среди лилий

это в пятнадцатом
время лепечет году
с лодочной станции
с тихим сачком голоного иду

водоросли заплетает река
уходит под мост
скорый свой набирает рост
издалека алека

* * *

и одеяло подтянет
сон запотевший в бинокле
резкие брызги купаний
в майках продрогли

веяньем бабочки чахлой
вдруг расширение вселенной
старости дряхлой
желтые зубы и пена

шарит рукой как слепая
сколько бессмысленных пауз
в хвойном лесу засыпая
в храпе казарм просыпаясь

* * *

сахаром кормят в чулане
черной смородой
плачет худыми плечами
горе воюют народы

выколет точку пространства
прыглый кузнечик
кофточку трогать несчастный
юноша в мире не вечен

эвакуации Невель
город когда-то невесты
скверно рифмуется синее небо
с тем, что окрест

* * *

в ступе толченые зерна
мака и ветер веранды
звезды двора над уборной
голодно гланды

писем воздушные змеи
с Севера в Джалалабад
стыдной в разлуке измены
хлеб черноват

время размокнет размякнет
хоть не простить так забыть
ложечка звякнет
дай мне попить

* * *

ребра трещат переборок
солью глаза заливаает
короток век твой и горек
чайка летает

разве в отсутствии Бога
смерть не роднит
жизнь-недотрога
теплится слабая спит

ты ведь бессмысленна сроду
ласковая нелепа
как посмотреть в непогоду
правда ли все это с неба

Стихотворения 1987 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения 1973-78 гг.	7
Письма	13
Стихотворения 1979-80 гг.	21
Шум Земли	31
Зима на Крестовском	57
Стихотворения 1983-84 гг.	69
Стихотворения 1984-86 гг.	81
Спящий	89

В 1991 году вы можете приобрести в нашем издательстве:

Аверинцев Сергей. «Религия и литература»	7.00
Аксёнов В. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы)	10.00
Ашкенази В. «Преодолевая границы». (Мемуары)	12.50
Вайль П., Генис А. «Родная речь». (Статьи, 200 с.)	12.00
Визель Эли. «Завет». (Роман, 272 с.)	12.50
Галич Александр. «У микрофона». (172 с.)	12.00
Губерман И. «Прогулки вокруг барака». (200 с.)	10.00
Езерская Белла. «Мастера» (Кн. 1 и 2)	8.00 и 10.00
Елагин Иван. «Тяжелые звезды». (Стихи, 350 с.)	12.00
Ерёмин Михаил. Стихотворения	8.50
Ефимов И. «Архивы Страшного суда». (Роман, 320 с.)	8.50
Ефимов Игорь. «Светляки». (Афоризмы, 110 с.)	8.00
Ефимов Игорь. «Седьмая жена». (Роман 420 с.)	14.00
Жемчужная З. «Пути изгнания». (Восп. 300 с.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен». (Рассказы, 184 с.)	8.50
Зернова Руфь. «Женские рассказы». (160 с.)	7.50
Иванов Георгий. «Третий Рим». (Избр. проза)	14.00
<i>Избранная проза семидесятых.</i> (260 стр.)	14.00
Лосев Лев. «Тайный советник». (Стихи)	8.00
Лосев Лев. «Чудесный десант». (Стихи)	9.00
Лосская Вероника. «Цветаева в жизни». (320 с.)	15.00
Матлин Владимир. «Эффект Либерсона». (Рассказы)	8.00
Муравина Нина. «Встречи с Пастернаком» (220 с.)	15.00
Найман Анатолий. Стихотворения	8.00
Озерная Н. «Разговорник для новых американцев»	9.00
Платова В. «Неяркая жизнь Сани Корнилова». (Расс.)	7.50
Полторацкий Н. П. «Иван Александр. Ильин». (320 с.)	17.00
Поповский Марк. «Дело академика Вавилова». (280 с.)	10.00
<i>Поэтика Иосифа Бродского.</i> (Статьи, ред. Л. Лосев)	12.00
Ратушинская Ирина. «Сказка о трех головах». (Расс.)	7.50
Ратушинская Ирина. Стихи. (На русс., англ., фран.)	8.50
Рачко Марина. «Через не могу». (Повесть, 100 с.)	6.50
<i>Россия глазами женщин.</i> (Лит. антология, 190 с.)	8.50
Свицкий Г. «Прощание с Россией». (160 с.)	8.50
Суслов Илья. «Рассказы о тов. Сталине»	7.50
Телесин Ю. «1001 советский полит. анекдот»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма» (304 с.)	14.00
Шварц А. «Жизнь и смерть Михаила Булгакова»	12.00
Шляпентох В. «Открывая Америку» (200 с., иллюстр.)	9.00
Шульман С. «Иноплянетяне над Россией»	10.00
Штерн Людмила. «Под знаком четырех»	8.50
Эткинд Ефим. «Стихи и люди». (160 с.)	9.00

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage, P.O.Box 410
Tenafly, N.J. 07670, USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку (независимо от числа зак. книг). При покупке 3-х и более книг скидка 20%.



В 1980-е годы «Эрмитаж» представил читателю первые сборники стихов таких интересных поэтов как Ирина Ратушинская, Михаил Еремин, Лев Лосев, Анатолий Найман, Ина Близнецова. В 1990-х мы намерены продолжить эту традицию — знакомить любителей русской поэзии с новыми поэтическими голосами. Вот что пишет о стихах ВЛАДИМИРА ГАНДЕЛЬСМАНА Иосиф Бродский: «Стихи поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения... Они ошеломляют буквальностью чувств, голый своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары)... [В них есть] любовь любви, любовь к любви — самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная».